

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

Всякая книга является эффектом некоторой сети отношений, более или менее устойчивых. Ни один автор не может претендовать на полное и стопроцентное авторство своего текста. Эта работа писалась семь лет (с 2002 по 2009 г.), и как минимум семь фигур окружают ее, сделав возможным появление книги.

Первая фигура — Друг-и-Учитель, передавший автору язык описания и способ проблематизации. Александр Ф. Филиппов — человек, научивший меня задавать вопросы текстам и искать ответы в организованном наблюдении. Его наставничеству я обязан интересом к теоретической работе, дружбе с ним — плодотворным обсуждением полевых исследований. «Поле, на которое Вы вступаете, — сказал он при обсуждении моей первой статьи, — кажется Вам непахатым. На самом деле оно минное». Многочисленные разрывы повествования и воронки в аргументации (вряд ли мне удалось спрятать их от взгляда пронизательного читателя) — наглядное подтверждение его правоты.

Вторая фигура — Источник. Это полумифический, полуреальный персонаж, оставивший в наследство работы, которые продолжают индуцировать все новые и новые тексты. Для теоретиков фрейм-анализа и исследователей повседневности таким источником вдохновения остаются труды Ирвинга Гофмана. Как заметил по их поводу Эмануэль Щеглофф: «Мы учимся у Гофмана не тогда, когда соглашаемся с его выводами, а когда испытываем раздражение от них». Вот и сейчас я понимаю, что данное Заключение — в действительности не фрагмент текста, а способ его фреймирования, т. е. не столько «выражение», сколько «закрывающая скобка». И это знание наполняет меня раздражением, потому что нельзя одновременно писать Заключение и относиться к нему как к «распространенному механизму управления вниманием читателя».

Третья фигура — Тот-кто-Рядом. Научная работа — коллективное предприятие, и всякая монография есть не что иное как узурпация «прибавочной стоимости» труда коллег. Если бы не помощь моих бывших студентов — Евгения Варшавера, Татьяны Исаевой, Наиля Фархатдинова, Никиты Харламова, Дарьи Хлевнюк, Натальи Комаровой, Ксении Ткачевой — мне было бы нечего сообщить читателю.

Собственно, фигура Читателя-Комментатора — четвертая в этом списке действующих лиц. О ней в мировой литературе сказано столько, что вряд ли имеет смысл повторяться. Ограничусь перечислением. Михаил Соколов мужественно боролся с моим непониманием работ Гофмана (особенно раннего). Андрей Корбут указал на огромный пробел в области теорий рефлексии. Двора Яноу, Мерлин ван Хульст и Петер Файндт терпеливо (хоть и безуспешно) пытались вернуть меня в лоно интерпретативистской традиции, попутно указав на чрезмерную сухость и формальность моего подхода к фрейм-анализу. Род Уотсон и Кристиан Грайфенхаген столь же терпеливо (и примерно с тем же успехом) вели просветительскую работу в лучших традициях манчестерской школы этнометодологии. Андрей Полетаев и Ирина Савельева заставили меня посмотреть на теорию фреймов в перспективе смежных гуманитарных дисциплин (результатом чего стало мое постыдное бегство из «поля» назад, в библиотеку). Все они ощутимо присутствуют на страницах книги.

Пятая фигура — Редактор. Он — официальный представитель будущих читателей, их депутат и единственный защитник от авторского произвола. Текст этой книги читаем лишь благодаря усилиям Марины Пугачевой, Светланы Ярмолук и тех сотрудников Европейского университета, которые вложили свой труд в доведение до ума присланного в редакцию текста.

Шестая фигура — фигура самого Автора. Но еще со времен постструктуралистов известно, что «Автор умер», а потому на сцене он не появляется даже для финального поклона.

Наконец седьмая фигура — Оппонент. Без участия Оппонента повествование лишено напряжения, замысел — интриги, книга — смысла. Мне исключительно повезло. Моими оппонентами выступили блестящие представители современной теории практик — Олег Хархордин и Вадим Волков. Несогласие с их тезисами дало толчок к занятиям социологией повседневности, дискуссия с ними — изменила мое представление об архитектуре повседневного мира.

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

Собственно, поэтому (а вовсе не потому, что «кольцевая композиция — распространенный способ фреймирования научных текстов, для создания впечатления цельности она требует прощального взгляда на проблему, которая ставилась в первой главе») мне и хотелось бы вернуться в заключение к исходной точке данной работы — к спору между теорией практик и теорией фреймов.

Теоретическая дискуссия во многом подобна шахматной партии. «Ходы» в ней могут быть наступательными и оборонительными, нагнетающими напряжение и сулящими скорую разрядку. В сущности, самому ходу или их комбинации — т. е. высказываемому аргументу или серии аргументов — предшествует позиционная борьба (привлечение и «расстановка» теоретических ресурсов). Обмениваясь аргументами, игроки зачастую вынуждены жертвовать некоторыми ранее обороняемыми положениями или ретироваться, обнаружив недостаточную «защищенность» своей позиции. Сиюминутный выигрыш (например, успешная атака на менее укрепленном «фланге» оппонента) легко может обернуться стратегическим проигрышем — и тогда нападающий сталкивается с дефицитом теоретических ресурсов, теряет инициативу, возвращаясь на заранее подготовленные (если подготовленные) позиции¹.

Отсюда особый талант аргументации — способность при помощи простой комбинации (или одного хода) отразить критический выпад, направив его против самого источника критики. Иногда для этого приходится жертвовать «фигурой» — ценной теоретической метафорой, различием или тезисом. Но эта жертва с лихвой окупается через несколько ходов — когда нападающий неожиданно сталкивается с необходимостью спасти свои собственные положения от своих же собственных критических аргументов.

Благодаря короткому, но глубокому тексту Вадима Волкова «Слова и поступки»² дискуссия между теорией практик и теорией

¹ В этом ключевое отличие собственно теоретической дискуссии от всевозможных околонуточных «риторических игр». Там противостояния поддерживаются не интеллектуальными, а исключительно языковыми ресурсами, стороны предпочитают «высказывание личностных позиций» обоснованному рассуждению и всякая попытка логической аргументации гибнет под тяжестью навешиваемых ярлыков. Подобные дискуссии правильнее описывать не в метафорике шахматной игры, а по аналогии с «dancing contests» — импровизированными танцевальными состязаниями между подростковыми уличными группировками.

² Текст выступления В. Волкова на симпозиуме «Пути России: картография интеллектуального пространства» см.: [Волков 2009].

фреймов приобрела именно такой захватывающий оборот. Начав с «ответа на критику теории практик <...> со стороны представителей теории фреймов», автор:

а) пожертвовал одной из основных метафор своей концепции — метафорой игры, и одним из центральных своих теоретических ресурсов — философией позднего Л. Витгенштейна (а попутно и лингвистической философией Дж. Остина) [Волков 2009: 314—316];

б) произвел радикальную смену повестки дня теории практик, выведя на передний план анализа понятие «поступка» [Там же: 317];

в) «вернул» теоретикам фреймов их же собственный критический аргумент: ...предложенной вами модели социального действия сильно не хватает «трансцендентного измерения» и чувства «подлинной реальности»; фрейм-анализ, равно как и практико-ориентированная социология, строится на метафоре игры, т. е. «непомерно облегченной версии реальности». И вывод: «Да, в теории практик нет трансцендентного измерения. Но нет его и в теории фреймов...». Однако теория практик, по крайней мере, может вернуть в социологическое исследование некое «аутентичное измерение [действия] через категорию поступка» [Там же: 319—320]. Меж тем теории фреймов нечего противопоставить своей собственной критике.

Это сильный теоретический ход! Увлечшись критикой «имманентизма» в теории практик, мы сосредоточили всю свою аргументацию на одном фланге, начисто забыв об угрозе контрастступления через апелляцию к принципиально не-рутинным, не-повседневным и этически нагруженным формам действия — формам, «вылаивающимся из всех контекстов», а потому превосходящим любые системы фреймов. Теперь нам придется перегруппировать имеющиеся теоретические ресурсы, чтобы:

а) заново поставить проблему трансцендентного измерения повседневного действия;

б) решить ее так, чтобы вслед за автором «Слов и поступков» не выплснуть вместе с водой ребенка — не отказаться от исследований мира повседневности в попытке добраться до скального онтологического грунта, до «конечной реальности», до подлинного неигрового бытия;

в) отразить критический аргумент — упрек в невыносимой легкости описываемого теорией фреймов бытия («...трудно отделаться от подозрения, что фрейм у Гофмана только один — игровой, и жизнь, соответственно, редуцирована к игре» [Там же: 315]).

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

Отсюда ключевой вопрос: *как при помощи фрейм-анализа вернуть в исследования повседневного мира «трансцендентное измерение» действия и не превратить при этом саму социологию повседневности в очередную разновидность моральной философии или этической доктрины?*

Впрочем, это потребует от нас возвращения к исходному критическому аргументу.

Теория практик, теория фреймов и теория поступка (одинаково далекая и от теории практик, и от теории фреймов) по-разному отвечают на один и тот же фундаментальный вопрос социологии: *каков статус социального мира как реальности особого рода?* Иными словами, насколько изучаемый нами мир социальных взаимодействий, конфликтов, солидарности, принуждения, рациональности, языковых игр и неязыковых жестов является «настоящим»? Страшный сон социолога — обнаружить на каком-то этапе своего исследования, что его предмет просто не существует — хуже того, является лишь вымыслом, плодом больного воображения и, видимо, первым признаком безумия.

Со времен Платона «гарантом реальности» и «инстанцией подлинности» выступал мир идей — трансцендентный, расположенный всегда-по-ту-сторону мира наблюдаемых и осязаемых феноменов. Начало ниспровержению такой интуиции трансцендентности положила аристотелевская контрреволюция. Лучше многих теоретиков смысл этой контрреволюции передал В.О. Пелевин в повести «Чапаев и Пустота», герои которой — пациенты психиатрической клиники — ведут философские беседы во время лечебно-эстетического практикума:

«... — Господа, — заговорил я, чувствуя, что назревает ссора, и пытаюсь увести разговор куда-нибудь на нейтральную территорию, — а вы не знаете, почему это мы рисуем именно Аристотеля?»

— Так это Аристотель? — сказал Мария. — То-то вид такой серьезный. А черт знает почему. Наверно, первый, кто им на складе попался.

— Не дури, Мария, — сказал Володин. — Тут никаких случайностей не бывает. Ты ведь только что сам все вещи своими именами назвал. Мы почему все в дурке сидим? Нас здесь к реальности вернуть хотят. И Аристотеля этого мы потому именно и рисуем, что это он — реальность с шестисотыми «мерседесами», куда ты, Мария, выписаться хочешь, придумал.

- А что, до него ее не было? — спросил Мария.
— До него не было, — отрезал Володин.
— Это как?
— Не поймешь, — сказал Володин.
— А ты попробуй объясни, — сказал Мария. — Может, и пойму.
— Ну скажи, почему этот “мерседес” реальный? — спросил Володин.
Несколько секунд Мария мучительно думал.
— Потому что он из железа сделан, — сказал он, — вот почему. А это железо можно подойти и потрогать.
— То есть ты хочешь сказать, что реальным его делает некая субстанция, из которой он состоит?
Мария задумался.
— В общем, да, — сказал он.
— Вот поэтому мы Аристотеля и рисуем. Потому что до него никакой субстанции не было, — сказал Володин.
— А что же было?
— Был главный небесный автомобиль, — сказал Володин, — по сравнению с которым твой шестисотый “мерседес” — говно полное. Этот небесный автомобиль был абсолютно совершенным. И все понятия и образы, относящиеся к автомобильности, содержались в нем одном. А так называемые реальные автомобили, которые ездили по дорогам Древней Греции, считались просто его несовершенными тенями. Как бы проекциями. Понял?
— Понял. Ну и что дальше?
— А дальше Аристотель взял и сказал, что главный небесный автомобиль, конечно, есть. И все земные машины, разумеется, являются просто его искаженными отражениями в тусклом и кривом зеркале бытия. В то время спорить с этим было нельзя. Но кроме первообраза и отражения, сказал Аристотель, есть еще одна вещь. Тот материал, который принимает форму этого автомобиля. Субстанция, обладающая самосуществованием. Железо, как ты выразился. И вот эта субстанция и сделала мир реальным... Потому что до этого все вещи на земле были просто отражениями, а какая реальность, скажи мне, может быть у отражения? Реально только то, что эти отражения создает» [Пеллевин 2007: 124].

Классики социологии повседневности (У. Джемс, А. Шюц) с их тезисом о «верховой реальности» повседневного мира по-аристотелевски опрокидывают платоновскую иерархию миров: подлинное бытие — это как раз то, что Платон считал неверным отражением идей, тогда как сами идеи (например, «мир научной теории» по Шюцу) суть нечто среднее между сном и безумием. Напротив, классическая социальная теория опирается на «платоновский» спо-

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

соб мышления, где социальная реальность *sui generis* — это реальность трансцендентного.

В социологической классике интуиция трансцендентного исключительно сильна. При желании можно объяснить это историческими причинами: якобы, социология, отпочковавшись от философии, сохранила основные интенции религиозной метафизики и лишь заменила трансцендентность Б-га трансцендентностью Общества (не случайно у Дюркгейма оно наделено статусом «Верховного существа»). Действительно, социальные факты не даны наблюдателю, они проявляются в конкретных наблюдаемых событиях, но существуют всегда-по-ту-сторону мира имманентных человеческих действий.

Более тонкий аргумент связан не с историческими, а с логическими основаниями социальной теории. Социологи-неокантианцы, стоявшие у истоков дисциплины (М. Вебер, Г. Зиммель), произвели решительную де-онтологизацию социального мира. Если согласно Декарту все вещи делятся на протяженные («*res exstensa*») и мыслимые («*res cogitans*»), то и изучение их возможно либо в модусе физики, либо в модусе психологии. Социологии просто не остается места. Неокантианцы баденской школы расчищают пространство для социологии, «снимая» картезианский дуализм нетривиальным стратегическим ходом: да, есть вещи в пространстве и вещи в психике — но и те, и другие суть *вещи*, они *существуют*, т. е. принадлежат миру бытия. Про них всегда можно сказать «есть/нет». За гранью же мира бытия находится мир ценностей и связывающее два мира пограничное «царство смыслов». Это и есть подлинная реальность предмета социологического познания. Социология намеренно отказывается от изучения «вещей *per se*», ограничив предмет своего исследования их социальными смыслами. Про смысл (как и про ценность) нельзя сказать, что он «есть или нет». Смысл — не существует, он *значит*. Поэтому социолог должен решительно отвернуться от мира бытия, мира мыслимых и осязаемых вещей; его дело понять, что эти вещи значат. (Данное различие лежит в основании Великого Раскола между «науками о бытии» и «науками о значении».)

Здесь, собственно, и возникает веберовская модель социального действия. Действующий выходит за пределы своего наличного бытия, обращается к миру ценностей, находит смысл и воплощает его в конкретном действовании. Т. е. само практическое действие — это

отражение некоторой ценности «в тусклом и кривом зеркале бытия». Поэтому крестьянин не совершает поступательных движений тяпкой (практический модус), а спасает свою душу в богоугодном труде (ценностный модус), равно как и ученый, предположительно, не максимизирует свой капитал, а ищет истину [Вебер 1990а]. Впрочем, тут мы уже имеем дело не просто с трансцендентным (противоположным имманентности наличного бытия), а с *трансценденцией* — специфической операцией выхода за границы непосредственной ситуации, преодоления практического контекста здесь-и-сейчас. Трансценденция легче всего распознается в ценностно-рациональных действиях, а предельный ее случай выражен в пограничных переживаниях — таких, как переживание князя Андрея Болконского на поле под Аустерлицем³. (Это сравнение не будет выглядеть притянутым за уши, если вспомнить, что М. Вебер был почитателем таланта Л. Толстого.)

Приведенный В. Волковым пример с капитаном корабля, отказавшимся покинуть судно и утонувшим в Баренцевом море, действительно можно понять как Поступок — «без слов». Но его совершенно невозможно понять без интуиции трансцендентного⁴.

³ «...“Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются”, — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты ли спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..”» [Толстой 1970: 187].

⁴ «В теории практик есть утверждение, что практика (а не высказывания типа “я есть такой-то и такой-то”) создает и поддерживает идентичности и субъектов, и объектов. Смысл задается употреблением. Быть кем-то — это устойчиво делать как кто-то (командир, женщина, ученый). Поступок сильнее, поскольку добавляет предикат “настоящий” — в отличие от “изображал кого-либо”, и т. п., т. е. в отличие от временного фреймирования. Но идентичности и привязанное к ним этическое должествование не существуют сами по себе, отдельно, в некотором особом измерении, будь то книги, кодексы или коллективные представления. Они существуют в поступках, которые невозможно отделить от тех, кто их совершает, и которые придают значение словам-до и словам-после, а сами слов не требуют, поскольку показывают все с конечной убедительностью. Вот недавнее короткое сообщение с новостной ленты Korrespondent.net. “В Баренцевом море в районе острова Медвежий потерпел бедствие российский траулер “Топаз”. 18 членов экипажа спаслись на оказавшемся рядом

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

Итак, социологическая классика выстроена на «платоновской» модели описаний, в которой приоритет принадлежит трансцендентному миру. Этот мир по-прежнему является «верховным гарантом» реальности — в данном случае, реальности предмета социологического исследования. В апелляции к трансцендентному едины такие несхожие авторы, как Э. Дюркгейм (для которого трансцендентно общество и мир социальных фактов), М. Вебер (трансцендентно царство ценностей) и даже релятивист Г. Зиммель, расписавшийся под требованием изучения социальной реальности *sub specie aeternitatis*, т. е. с точки зрения вечности.

Заметим также, что у классиков метафора игры — столь критикуемая В. Волковым за «облегчение реальности» — встречается лишь изредка и практически никогда не является несущей конструкцией исследования. Там, где правит бал предвечное трансцендентное, не место играм.

С точки зрения интересующей нас области знания — социологии повседневности — у классических «платоновских» моделей описания есть только один недостаток. На них невозможно опереться при изучении мира повседневности, потому что повседневный мир наделяется в них статусом всецело имманентного, посюстороннего, а следовательно, незначимого. Говоря словами Вебера, повседневность — это «выхолощенная» действительность. Почему выхолощенная? Потому что ей не хватает самого главного — трансцендентного измерения. Операция трансценденции представляет собой выход из повседневности, ее преодоление.

Классический пример нивелирования повседневного контекста операцией трансценденции мы находим в воспоминаниях психотерапевта-экзистенциалиста Виктора Франкла: «Незадолго до того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, я получил приглашение из Американского посольства в Вене прийти и получить визу для въезда в Штаты. В то время я жил в Вене с моими родителями. Они, разумеется, не ждали от меня ничего иного,

судне. Однако капитан, который до последнего момента оставался на борту, погиб” ... Ситуация траулера «Топаз» была технической, у него были повреждены кингстоны. В ней не было слов и не было фреймов. Но вдруг все техническое стало другим — и не из-за того, что кто-то дал знак “переключить фрейм”. Был совершен поступок, и все поняли его без слов. Можно сказать, что этика морской профессии, а также ее так называемая “ролевая структура” — это инерция отдельных поступков конкретных людей» [Волков 2009: 317–318].

нежели, что я получу визу и поспешу уехать. Но в следующий момент я начал сомневаться, спрашивая у себя: “Следует ли мне делать это? Могу ли я так поступить?”. Потому что мне внезапно пришло в голову, чем это будет для моих родителей, а именно: через пару недель — такова была ситуация в то время — они будут брошены в концентрационный лагерь. И должен ли я оставлять их на произвол судьбы в Вене? До сих пор я мог избавить их от этой участи, поскольку возглавлял отдел неврологии в Еврейском госпитале. Но если бы я уехал, ситуация тут же изменилась бы. Размышляя о своей ответственности, я почувствовал, что в такой ситуации естественно просить совета у неба. Я отправился домой, и когда пришел, заметил кусок мрамора на столе. Я спросил отца, откуда он взялся, и отец сказал: “О, Виктор, я подобрал его на месте, где стояла синагога” (она была сожжена нацистами). “А почему ты взял его с собой?” — спросил я. “Потому что это часть двух плит, на которых написаны десять заповедей”, и он показал мне сохранившуюся позолоченную еврейскую букву на мраморе. “Я могу сказать тебе больше, если хочешь, — продолжал он, — эта буква является сокращением одной из десяти заповедей: Почитай отца своего и мать свою, и пребудешь на земле”. Тут же я решил остаться в стране вместе с родителями, отказавшись от визы» [Франкл 1990: 291].

Принятое автором решение (за которым последовал арест и депортация в концлагерь) — это результат проекции трансцендентного в имманентное, повседневное, обыденное: «Вы будете правы, утверждая, что это проективный тест, что я, по-видимому, принял решение в глубине души еще до этого и лишь проецировал его на кусок мрамора... Таким образом, смысл — это, по всей видимости, нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны» [Там же: 292]. Признание нейтральности окружающих нас вещей («Umwelt») непосредственно связано с признанием абсолютного приоритета трансцендентного («Потому что характерная составляющая человеческого существования — трансцендирование, превосхождение себя, выход к чему-то иному» [Там же 1990: 288]). Но если окружающие нас вещи, обыденные рутинные действия, нерелективные поступки и многократно повторяющиеся события действительно нейтральны и призваны служить лишь проекционным экраном потусторонних смыслов, то о каких исследованиях повседневного мира может идти речь? Тогда повседневность — это неподлинное бытие («Das Man»), которое необходимо

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

преодолеть. Не случайно в «Словах и поступках» В. Волкова экзистенциальная философия по ходу изложения плавно вытесняет социологию повседневности.

Кажется, это тупик. Цугцванг. Либо выбор в пользу классических «платоновских» моделей социологического мышления (с их акцентом на трансцендентном и трансценденции, трагизмом, вечными темами, полным отсутствием иронии и игры), либо реабилитация имманентного, рутинного, обыденного и повседневного — пусть и с потерей трансцендентного измерения. Действительно, теория повседневных практик начисто лишена трагизма. И наоборот — трансцендентное не терпит обыденности. Ни Болконский, ни Франкл, ни капитан траулера «Топаз», упомянутый в тексте В. Волкова, не действовали рутинным повседневным образом, совершая свои поступки. Чего не скажешь о персонажах Витгенштейна, Бурдые, де Серто и Гарфинкеля, практикующих социальную жизнь, как практикуют занятия спортом или фитнесом.

Первый ход — назад, к приоритету трансценденции, — заставит нас пожертвовать повседневностью, что равносильно утрате предмета исследования. Второй ход — к пониманию повседневного мира, как мира практик, всецело имманентного и посюстороннего, — навяжет упрощенный и поверхностный образ социального мира⁵.

Впрочем, у этого поверхностного образа есть свои основания. Причем основания в философии, предшествующей платоновскому разграничению мира идей и мира вещей. Ж. Делез полагает их творением стоиков. О. Хархордин использует этот тезис для усиления позиций теории практик: «...стоики живут в мире поверхностей — им дан не платоновский мир материального и мир идеального, не картезианское сознание, сидящее где-то внутри и заявляющее о себе своими внешними проявлениями, а мир смыслов и мир тел, рассматриваемых как две стороны одной медали» [Волков, Хархордин 2008: 274]. У стоиков и теоретиков практик «смыслы резвятся на поверхности тел» не от хорошей жизни — в силу того, что у них больше нет никакого трансцендентного измерения и собственного суверенного царства, они вынуждены ютиться на самих материальных телах. При снятии дихотомии потустороннего и посюстороннего, как ни парадоксально, посюсторонним оказывается абсолютно все — социаль-

⁵ Я не буду повторять здесь критику «имманентизма» практических теорий, приведенную в Главе первой.

ная жизнь предстает не просто поверхностью, но чем-то вроде «лен-ты Мебиуса» перетекающих друг в друга событий и эффектов. А потому нет ни субъектов, ни объектов действий, есть лишь «то, что делается».

Собственно, из этого напряжения и рождается задача, поставленная нами выше, — *вернуть в исследования повседневного мира трансцендентное измерение действия и не превратить при этом саму социологию повседневности в очередную разновидность моральной философии или этической доктрины*. Но для того чтобы такую задачу решить, надо понять, где была допущена ошибка, какой неосторожный ход привел к необходимости выбирать из двух зол: между выхолащиванием повседневного мира и утратой самой повседневности, между практикой и поступком.

Заметим, ни для теории практик, ни для теории поступка заявленная нами проблема не актуальна. Теория практик просто нечувствительна к разным формам трансценденции. (В лучшем случае трансцендентное здесь может быть концептуализировано не как «выход» из плоскости рутинного существования, а как волна, завихрение, «обращение на себя» самой этой плоскости.) Теория поступка безразлична к повседневности, ибо повседневные рутинные действия повторяемы и обратимы, а потому нет в них подлинной реальности. Как точно замечает В. Волков, «Джон Остин был не совсем прав, говоря, что перформативные высказывания меняют положение дел в мире. Обещание можно взять назад, а корабль “Королева Елизавета” переименовать в “Иосиф Сталин”, и делать это каждый день. Но есть высказывания, которые действительно можно считать поступками — в той мере, в какой они создают необратимость» [Волков 2009: 317]. Действительно, трудно представить себе самопожертвование или самоубийство в качестве повседневных феноменов (если, конечно, речь идет не о трагической гибели героя «Южного парка», с завидной регулярностью умирающего в каждой серии мультсериала.)

Проблема появляется в тот момент, когда мы одновременно признаем ценность повседневности в качестве предмета исследования и отказываемся определить этот предмет в категориях имманентных посюсторонних локальных практик *in situ*, существующих лишь здесь-и-сейчас. Лучше всего этот вопрос сформулировал А. Шюц: «Как чувственный воспринимаемый мир, действительно данный индивиду в каждый момент его биографического существования, несет

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

с собой свои открытые горизонты пространства и времени, выходящие за границы актуального Здесь и Сейчас?» [Шюц 2004: 462]. Самый простой ответ — при помощи знаков.

Собственно, ситуация чтения старого письма, приведенная в пример У. Уорнером и разбиравшаяся нами в 1-й главе, — простейший случай трансценденции, выхода из здесь-и-сейчас. Теперь становится понятно, на каком ходу нами была сделана ошибка. Слишком поспешный переход от «трансцендентного» к «трансценденции». Ведь трансценденция отнюдь не всегда проявляется в своем экзистенциальном модусе — как «скачок» в религиозное переживание (Кьеркегор), обретение опоры в Абсолютном (Ясперс), озарение (Франкл) или необратимость подлинного поступка (Волков). Трансценденция — это любой «выход» из наличного бытия, любое отстранение от повседневности. Мы уже приводили этот пример в четвертой главе: в переходе метро Вы слышите музыку, которая на какой-то момент изменяет Ваше отношение к реальности, Вы как бы приподнимаетесь над ситуацией; то, что до этой секунды казалось навязчиво присутствующим (шум поездов, сутолока, разговоры идущих рядом людей) отступает на второй план, становится менее заметным. Сам ход времени изменяется и подчиняется теперь течению мелодии — Вы убыстряете или замедляете шаг. Все, что волновало Вас до этой секунды, кажется малозначимым, теперь совсем другие предметы обращают на себя Ваше внимание. Когда мелодия заканчивается или Вы удаляетесь от нее настолько, что больше не можете распознать, повседневность «возвращается», обрушиваясь звуками, прикосновениями, запахами, которые до того были вытеснены *переживанием Иного*. Другой пример — погружение в мир театрального представления, созерцаемой картины или книги. Невозможно одновременно находиться «внутри» изображенной действительности и «снаружи», в реальности повседневного. В каждом из описанных случаев «отстранение» означает выход в некую неповседневную область, которая — при определенном отношении — не менее реальна, чем рутина обыденных действий.

Отсюда вывод: трансценденция (понимаемая не как «гром среди ясного неба», «пробой диэлектрика» или «прореха бытия», а как постоянные переходы между областями реальности) не противопоставляет миру повседневности; она является неотъемлемой частью его архитектуры.

Как тогда быть с игрой? Действительно ли тотальная «играизация» угрожает конечной реальности поступка? Воспользуемся описанием из рассказа Патрика Зюскинда «Поединок»: «...Ибо вот уже его рука, словно ястреб, взмывает над полем, берет ферзя и переносит его... нет! — не назад, боязливо, как сделали бы мы, а опускает его только на одну-единственную клетку правее! Невероятно! Все так и застывают от восторга. Никто на самом деле не понимает, для чего нужен этот ход, ибо ферзь стоит сейчас на краю доски, ничему не угрожает и ничего не прикрывает, стоит там абсолютно бессмысленно, но стоит красиво, до абсурдного красиво, так красиво ферзь еще никогда не стоял — одиноко и гордо посреди вражеских рядов...» [Зюскинд 2008] Мир шахматистов, увлеченных партией (как и мир теоретиков, увлеченных дискуссией), ничем не напоминает невыносимую легкость бытия. Более того, он точно так же не требует слов (это, конечно, относится к шахматистам, а не к теоретикам) — ходы говорят за себя⁶. Игра может быть не облегченной, а утяжеленной версией реальности, если в понятия игры включить, например, религиозный ритуал или военные действия. Приняв переопределение «трансценденции», мы вынуждены будем признать, что уход в игру — одна из ее разновидностей.

Именно здесь и локализована основная проблематика теории фреймов. Переключения и рефрейминги суть механизмы трансценденции, перехода от одной формы (формата, фрейма) бытия к другой. Какая из этих форм обладает «конечной реальностью»? Для Джемса и Шюца — та, которая осязаема, ощущаема, принята на веру как не требующая доказательств и потенциально может «дать сдачи» (мир повседневных взаимодействий и рабочих операций). Для теории практик она является не только конечной, но и единственной. Для теории поступка такая форма бытия лишена аутентичности, а конечная реальность закреплена за этическими, необратимыми экзистенциальными действиями, и потому реально в конечном итоге лишь невысказываемое, показывающее себя без помощи слов.

Что же для теории фреймов? Начав с уютного джемсовского тезиса о «верховой реальности» (ей во фрейм-анализе соответству-

⁶ Кстати, один эпизод из истории шахмат свидетельствует в пользу тезиса Вадима Волкова об «ортогональности» слов и поступков — в первых чемпионатах, объявляя шах, игрок должен был произносить слово «шах» (более того, угрожая ферзю, он должен был произносить слово «гардэ»), но по мере развития шахматной игры слова отпали сами собой, поскольку ходы самодостаточны и самозаконны.

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

ет понятие «первичной системы фреймов»), Гофман приходит в конечном итоге к радикальному выводу: мы не знаем, какая из форм обладает приоритетом; скорее всего, никакая — поскольку реальные не сами формы, а лишь отношения между ними. Отношения перехода и трансформации, «скачка» и «транспонирования». Именно операция выхода за границы форматов взаимодействия и способность связывать их (например, знаковыми отношениями — отношениями означания) обладает приоритетом перед самими форматами.

Эти связи и являются предметом изучения фрейм-аналитика. Они же — предмет постоянного осмысления для тех, кто по характеру своей деятельности должен выносить суждения о «конечном статусе» действия. Речь идет о судьях и законодателях.

В мае 2009 г., после нескольких случаев стрельбы, устроенной учащимися в немецких школах, немецкий парламент начинает обсуждать возможность запрещения пейнтбола. Почему именно пейнтбол, а не компьютерные игры, в которых эпизоды насилия выражены гораздо более ярко? По мнению авторов запрета, события во фрейме «пейнтбол» представляют собой трансформированные события «стрельбы», причем речь идет о транспонировании первого порядка. Здесь замещению подлежит лишь оружие стрельбы, сама же стрельба ведется по живым людям, а не по их условным изображениям на экране. Основной вопрос фрейм-аналитика: как именно происходит транспонирование события X в событие « X »? Насколько данный вид транспонирования сходен с другими случаями транспонирования того же события (и от транспонирований транспонирований по типу: $X \rightarrow$ « X » \rightarrow «“ X ”»)?

Один из разработчиков законопроекта о запрещении пейнтбола, депутат бундестага от Социал-демократической партии Дитер Вифельшпюц обосновывает свое предложение ссылками на минимальные трансформации «стрельбы по живым людям» при ее переключении в игровой фрейм пейнтбола (в гофмановской классификации речь должна была бы идти о переключении с использованием ключа «состязание»): «Пейнтбол имитирует убийство человека с применением огнестрельного оружия. Эту игру следует запретить! Пейнтбола в Германии быть не должно». С ним солидарны некоторые комментаторы в российской блогосфере: «Пейнтбол — это “симулятор” военных действий. Пейнтбол — это “стрельба” по живым людям. Мне, например, родители с детства внушали, что направлять ствол даже игрушечного ружья на человека нельзя. Я из ПМА

любую картонно-бумажную мишень размочу “в яблочко”, а на человека направить даже пейнтбольный маркер не могу».

У сторонников запрета три основных аргумента:

1) Пейнтбол является превращенной формой активности, не буквальной-версией стрельбы по людям.

2) Пейнтбол является именно переключением первого порядка — т. е. основные элементы стрельбы по живым мишеням сохраняются в нем с минимальными изменениями («...Эта игра слишком близка к настоящей стрельбе. Стрельба шариками по людям причиняет им боль»).

3) Перевод «стрельбы» в «пейнтбол» является обратимым — т. е. игрок в пейнтбол может совершить и обратное действие «утяжеления реальности», возвращения освоенного во фрейме игры действия в верховную реальность повседневной жизни.

Последний аргумент особенно любопытен. Теоретики поступка полагают, что именно необратимость делает действие *деянием*. Но в основе даже такого «конечного» необратимого поступка может лежать возможность обратного транспонирования, потенциальная обратимость игры в повседневность: «Пейнтбол и ему подобные игры приучают к насилию, так как делают его банальным», «Во время игры в пейнтбол мишенями служат люди, и в этом заключается проблема. Потому что можно заиграться, может возникнуть желание перенести игру в жизнь», «Будучи регулярным, такое занятие снижает порог агрессии и приводит к преступлениям». Стоит заметить, что в этом случае пейнтбол рассматривается не как переключение некоторого насильственного действия в игровое при помощи ключа «состязание», а скорее как тренировка, репетиция, «прогон» в формате игры будущего насильственного действия (ключ «техническая переналадка»).

Аргументы противоположной стороны — противников запрета — также носят выраженный фрейм-аналитический характер. Таких аргументов два:

1) Пейнтбол — не единственное транспонирование насильственных действий в игровой фрейм («Конечно, мы стреляем друг в друга. Однако, например, и в фехтовании действует тот же принцип: нужно поразить противника. Но никто почему-то не собирается запрещать фехтование»; «Неужели депутаты от правящей коалиции сами в детстве не бросались снежками, карандашами, мячиками?»; «Если они запрещают невинную игру, представляющую собой смесь “вышибал”

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

и “казаков-разбойников”, то почему бы не запретить и “вышибалы” — там же тоже целишься мячом в человека, и попадание тоже больно»).

2) Пейнтбол не является транспонированием первого порядка, поскольку это командная состязательная игра и не имеет ничего общего с расстрелом безоружных («...этот вид спорта имитирует стрельбу, но никак не убийство», «совершенно очевидно, что речь идет об имитации неких военных действий, а не расстрела невооруженных людей. Если бы была такая игра, где вам нужно за короткое время расстрелять как можно больше незащитных жертв, я бы сам голосовал за ее запрещение»).

Первый аргумент отразить довольно легко. Фехтование, компьютерные игры (и тем более «вышибалы») — не являются транспонированием первого порядка. В фехтовании транспонируется «дуэль». Предположительно, «фехтовальный поединок» от «убийства» отделен целым рядом дискретных преобразований, многие из которых носят исторический характер и разнесены во времени на столетия. Второй аргумент гораздо серьезнее. Если транспонируется «не то» (а это очевидно в случае с пейнтболом), все доводы сторонников запрета теряют свою силу. Поэтому важно понять, какой «оригинал» послужил прототипом данной «копии».

Остается аргумент «реалистичности». На некоторых европейских профессиональных соревнованиях по пейнтболу запрещено стрелять красной краской — чтобы уменьшить «эффект правдоподобия». Аналогичным образом во многих компьютерных играх «шутерах» (так называемых «киллерских играх») запрещено показывать кровь поверженного противника. Что любопытно: обсуждается запрет на продажу детям до 16 лет игр, в которых поле игры показано «от первого лица», глазами персонажа, сжимающего в руках оружие. Те, кто верят в обратимость экзистенциальных и игровых действий, опасаются, что такой «взгляд» усилит идентификацию игрока с его персонажем-убийцей. После того, как майор милиции открыл в Москве стрельбу по прохожим и посетителям супермаркета, журналисты первым делом стали выяснять, как часто он играл в компьютерные игры и какие именно игры предпочитал. Их модель объяснения была чисто фрейм-аналитической: выяснить, в какой мере совершенное им действие является транспонированием другого действия насилия — рутинизированного и технически освоенного во фрейме игры.

Означает ли это, что трагические события — расстрел подростков в школе или посетителей в супермаркете — лишаются своего экзистенциального статуса? Нет. Это те самые необратимые, «тяжелые» поступки, взрывающие рутину взаимодействий, и мы менее всего склонны подвергать сомнению их онтологический статус. Однако даже выход на улицу с оружием — это именно выход, переход, пересечение границы между двумя формами опыта и, в конечном итоге, между двумя формами социального существования. «Гарантом реальности» данного действия служит не необратимость перехода, а сам акт пересечения границы и возможность обращения одного контекста действия в другой⁷.

Существует ли фундаментальное различие между Трансценденцией с большой буквы (т. е. не просто выходом из обстоятельств здесь-и-сейчас, но выходом, имеющим серьезные моральные импликации) и трансценденцией как операцией отстранения от повседневности (вроде той, что была описана нами выше на примере пешехода в переходе метро)? У нас нет обоснованного ответа на этот вопрос. Шюц опасливо разделяет эти виды трансценденции на апперцептивный и аппрезентативный (который в свою очередь может быть знаково-аппрезентативным и символически-аппрезентативным). Гофман, напротив, отказывается установить иерархию операций трансценденции. Его интерес сосредоточен на технической стороне рефрейминга и транспонирования: что изменяется и что остается прежним при трансформировании одной формы опыта в другую? Этот вопрос может быть адресован и превращению «перестрелки» в «пейнтбол», и транспонированию «пейнтбола» в «перестрелку». Ресурсы фрейм-анализа действительно недостаточно, чтобы концептуализировать необратимость перехода.

Впрочем...

Артур Кестлер в «Веке вожделения» описывает группу философов (по всей видимости, французских экзистенциалистов), предпочитавших вести споры вдаль от университетских кафедр, собиравшихся в кафе и сочетавших философию с употреблением горячительных напитков. Один из них, иллюстрируя некоторый тезис, опрокинул бутылку с алкоголем в аквариум, где жила любимая золотая рыбка хозяина. Хозяин подал в суд, и лидер философской

⁷ Напомним в этой связи еще раз о «правилах Макнотона» (см. Главу вторую Части I).

О ПЕЙНТБОЛЕ И ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ

группы решил самостоятельно выступить в качестве адвоката. Он выстроил защиту на фундаменте собственной философии: рыбка, заключенная в аквариуме, пребывала в состоянии неподлинного, неаутентичного и невыносимо легкого бытия, она жила в потоке повседневных практик пожирания и переваривания пищи... произошедшее позволило ей подняться над рутинной своей никчемной жизнью, воссоединиться с рыбьим абсолютом и осознать себя настоящей Рыбой. А не в этом ли состоит предназначение каждого? Увы. Суд оказался глух к теоретическим аргументам и потребовал возместить хозяину понесенные убытки.

...Когда лопата ломается о скальный грунт, мы должны прежде усомниться в качестве лопаты, и лишь затем — поверить в твердость онтологических пород.